Продолжение. Начало в № 5–12 за 2015 год, в № 1 за 2017 год, в № 2 за 2018 год

Рисунок Марины Медведевой

Б. Н. ЕЛЬЦИН, А. С. ПУШКИН И М. С.

У меня есть одна правительственная награда, благодаря которой моя пенсия достигла аж двадцати шести тысяч рублей в месяц (если бы я рассчитывал только на нее, то остальные четыре дня из тридцати зубы, поскольку пока еще не вставные, точно надо бы держать на полке) и которую я получил из рук человека, по существу поломавшего мою судьбу. И если бы только мою.

Награду вручал мне Борис Николаевич Ельцин.

Это было 6 июня 1999 года. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина и ровно за полгода до отставки Бориса Николаевича.

Я напялил костюм, в котором сопровождал когда-то в поездках Михаила Горбачева, и нацепил галстук. Костюм точно напялил — за без малого десять лет не то что раздобрел, а как бы оброс тиной, каковой обрастает, унавоживается все, спроваженное на дно, а костюм, светлый, но чистой, тяжелой шерсти, если и не скукожился за эти мои и его непарадные годы, то как бы свалялся. Сел на меня, как на барабан: это видно даже на протокольной твердой фотокарточке, которую мне передали позже из Кремля и на которой мы с Борисом Николаевичем — он куда поджарее меня — благосклонно пожимаем друг другу руки.

Издательство, которым тогда руководил, выпустило полное юбилейное собрание сочинений Пушкина, один комплект которого Борис Николаевич подарил «другу Жаку Шираку», что с юности увлекался нашим классиком и даже читал своей невесте «Евгения Онегина» в собственном переводе. Вот только не знаю, на ней ли он женился впоследствии или все-таки на другой: французы народ влюбчивый и переменчивый. Особенно президенты или готовящиеся ими стать. Правда, перед вручением высокому другу нашего Пушкина переодели: зеленую картонную политурку сменили на кожу, почти человеческую, да еще и с золотыми позументами. В общем, бедненький камер-юнкерский пушкинский лапсердак поменяли на генеральский мундир в бляхах и аксельбантах.

Шираку подарок понравился, и Володя Шевченко, тогдашний шеф ельцинского протокола и давний мой сослуживец по аппарату Президента Горбачева, «пробил» мое награждение, да еще в Кремле, да еще и из рук самого Б. Н.

Так я заявился туда, куда не ступал уже много лет. И даже побродил по здешним коридорам — для награждаемых сделали такую экскурсию. Коридоры я не узнал. В мои времена это был скорее офис, да еще со скрипучими полами: я помню, как в кабинете Горбачева спешно устанавливали оцинкованные тазики — Президент вот-вот должен был приехать на работу, но прохудилась крыша, и в главном кабинете страны с потолка посыпался звонкий дождь. Горбачев практически не обращал внимания на окружавшую его обстановку — а может, и на саму окружавшую его действительность? — да и не до интерьеров было: не хватало ни времени, ни денег. Новая же метла сразу поме-

ла по-новому. Был офис, стал — дворец. Я бродил по царским палатам, разинув рот от удивления. Золото и аксельбанты: Кремль тоже, как и Пушкина, переодели. Перелицевали. И странное дело: никто по этим помпезным хоромам и наборным паркетам заполошно, скользя и спотыкаясь, не носился, как в мои перестроечно-тоталитарные деньки. Если кто и объявлялся на пути, то шествовал чинно-благородно, вельможею, а не так, как сновали тут мы, загнанные стрекулисты панических горбачевских годов.

Государство стало в два раза меньше, а вот чиновник, столоначальник даже в росте величественно прибавил, подтягиваясь за новым первосвященником сакральных кремлевских чертогов.

Вручали в Екатерининском зале.

Я огляделся. Из знакомых только Владимир Федосеев, знаменитый дирижер. Когда-то руководил превосходным, о б ъ е м н ы м, в том числе и по звуку, оркестром Гостелерадио СССР. Поэтому я его и знал. Поздоровались. Правда, я не уверен, что он вспомнил меня. Мне же в том державном и сливочно-приторном — сидишь в вычурном, действительно ж е н с т в е н н о м зале, как внутри «Киевского» торта: сплошное безе! — вспомнилось нечто совсем не в дугу. Как мы вызывали его, Федосеева, на коллегию — я тогда работал замом председателя в том самом Гостелерадио — для разбора персонального дела. Для выволочки. Дело действительно имело очень личный характер: Федосеев увлекся какой-то примой из своего же симфонического (возможно, она и примою-то стала вследствие юношеского увлечения своего пожилого патрона), а жена прислала на него жалобу. Федосеев тогда и сидел перед нами, образцово-показательными, н а к а з а т е л ь н ы м и, в костюмах и галстуках, еще моложавый, не просто взлохмаченный (как вдохновенно, в такт худым и длиннопалым рукам, взлетали на сцене его русые кудри во время концертов: мэтр, видимо, знал, что ими тоже любуются, и вскидывал их, как молодой скакун — гриву), а по-воробьиному взъерошенный, порывистый и бледный. Но молодец тогдашний председатель Гостелерадио Аксенов, самый образцовый среди нас, показательных, всегда на все пуговички застегнутый, несколько пафосный, даже экзальтированный, старавшийся даже шагать исключительно прямо и несокрушимо вертикально, чтоб никто не догадался, что он хром, поскольку одна нога раздроблена еще под Сталинградом. Он вдруг заявил, что Владимир Федосеев сам большой и сам разберется в своих семейных делах. Коллегия — сразу поскучнела: шоу отменялось. Аксенов, все так же непоколебимо вертикально, прямоходяще увел гривастого, нервно играющего желваками русского ахалтекинца к себе в кабинет.

Не знаю, как там федосеевская семья, но вместе с распадом Гостелерадио СССР, как и самого СССР, распался и непревзойденный оркестр, костяк которого действительно составлял двуногий, но несомненно горячий и обольстительный к о с я к.

Это и вспомнилось мне, не в строку, когда я уважительно жал еще более худую и бледную, и нервную, чем раньше, руку маэстро. Который тоже уже походил скорее на иноходца: ахалтекинские жаркие поры миновали, укатали сивку крутые горки. Даже поредевшие волосы и впрямь стали сивыми, и, видимо, все семейные катаклизмы у него остались позади, и письма из семьи теперь если и идут куда-то наверх, то — исключительно благодарственные...

— Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин! — прогремело непосредственно с небес.

* * *

Когда же я впервые услыхал эту фамилию — Ельцин? Наверное, в семьдесят пятом — семьдесят шестом. Я тогда заведовал отделом сельской молодежи «Комсомолки». И гласом небесным в данном случае выступил наш собкор по Свердловской области Стас Троицкий. Голосок в тот раз оказался так себе (по пословице: голос — как в ноздре волос) — Стас, тощий, долговязый, неуклюжий, да еще и с бельмом на одном глазу, вообще был по-детски застенчив и почти безгласен. Мы, собкоры — я и сам к тому времени недавно только вышел из них, — любили этого широкоплечего и ширококостного, но внешне похожего скорее на голый и грубый, ребристый человеческий остов, чем на самого человека, парня. Оставаясь всегда в стороне, как бы в тени (возможно, он и окружающих-то видел вполглаза и того же ждал от нас самих?) от нашей молодой и шумной, бурсацкой компании, когда мы подолгу живали вместе, вызванные в Москву — дни проводили в газете, а ночами околачивались в здешних гостиницах, — но, когда нужно, когда случалось что-то непредвиденное, как-то сразу оказывался рядышком. Под рукой. Неслышно выходил из тени, очутившись прямо над тобой всей своей крупной, плоской, совершенно лишенной каких-либо там жировых и прочих прокладок спасительной фигурой. Как неожиданно воздвигается над терпящим бедствие громадный, просмоленный и грубо надежный борт какого-нибудь лесовоза.

Скала — с печальным бельмом на правом глазу.

По первой, юношеской профессии Станислав фельдшер и с видавшим виды дешевым фельдшерским саквояжиком не расставался и давно расставшись с этой юношеской профессией, даже в журналистике, даже в Москве. Однажды, например, я оказался свидетелем,

как он самолично спасал от нестерпимой почечной колики одного из наших собратьев — Виктора Даныша из Краснодара. Помощь Стаса чаще всего требовалась по понедельникам. Утречком. Когда мы после совместных воскресных походов в близлежащую разночинную пивную собирались, по частям, на службу. Лесовоз и препровождал нас, по сравнению с ним недомерков, вернее, м а л о м е р к о в, если опять же воспользоваться морской терминологией, гуськом, послушно, как на бечевке, следовавших за ним в совершенно трезвую и строгую повседневность «приводных ремней» не то комсомола, не то сразу — партии.

Я раньше Стаса оказался «на этаже»: меня забрали в Москву заведующим отделом, Станислав же пока оставался в Свердловске. В один из дней звонит он мне «на этаж» и своим робким, тихим, как из-под земли — при таких-то рудокопных ручищах! — голоском оповещает:

— У нас тут появился новый второй секретарь обкома партии. Живой такой мужик. Я с ним соорудил его статейку — про сельское хозяйство Урала. Напечатаем?

— Типографским способом! — радостно воскликнул я, поскольку секретари обкомов-крайкомов, да еще партии, да еще с Урала, были очень редкими и желанными гостями нашего отдела. Появлялась редкая возможность «вставить» и рабочему, и даже «комсомольскому» — газета, сохраняя традиционное свое «шестидесятое» фрондерство, взапуски гонялась за такими спасительными, охранительными вешками, надежнее всего свидетельствовавшими не столько о «глубине» разработки темы, сколько о ее, газеты, общей благонамеренности. Спасут, оправдают, коли что. Да и собкору, прописанному и живущему в регионе, такая «высокопоставленная» статья тоже нелишняя охранная грамотка.

По-хорошему, мне надо бы насторожиться: в т о р ы е редко пишут о селе — это, как правило, специалисты либо промышленности, либо еще круче — о р г п а р т р а б о т ы. То есть спецы — по воздусям. А тут второй и — насчет села, его очередного преобразования и возрождения: у нас почему-то все и всегда не рождается, естественным способом, а исключительно — возрождается, противоестественным. Я, конечно, возможно путаю — может быть, Ельцин уже тогда избран-назначен был п е р в ы м, а первые, как известно, вольны говорить и писать о чем угодно. На то они и первые, то есть — всезнающие. Но, скорее всего, статья на сельскую тему самому Борису Николаевичу в тот момент нужна была даже больше, чем «Комсомолке». Став вторым, он, уже в силу своего разудалого характера, торопился стать и первым, то есть — у н и в е р с а л ь н ы м. Статейка в «Комсомолке», конечно же, мелочь, но и она выказывала — кому следует и от кого з а в и с е л о — широту познаний и мышления кандидата на перескок в первые. В чем Ельцин действительно разбирался, так это в строительстве: директор ДСК, говорят, был первостатейный. Но на новых высотах этого уже недостаточно: обзор, обзор! — выше стропила, плотники! И оказаться надо было — уже выше самих стропил, первородной своей профессии.

А возможно, я тогда уже предчувствовал, шкурой, кое-что насчет своей капиталистической пенсии — в общем, статейку напечатали незамедлительно.

Позже, в восьмидесятых, слыхал о нем неоднократно. Да и страна стала мал-мал узнавать его «в лицо». Во многом нашими же, телевизионщиков, среди которых оказался со временем и я, стараниями. Телевидение любило Ельцина; это он, а не Горбачев, стал первым, пускай на свердловском уровне, выходить «в массы». Встречаться — с прямыми трансляциями — на стадионах с молодежью, отвечать на острые вопросы и сам задавать их — и вниз, и даже вверх. Что и требовалось телевидению: оно само становилось с Ельциным живее, чем с кем-либо другим.

Ельцин телевидение тоже любил. И телевидение, и телевизионщиков. Встречали на Урале хлебосольно. Приезжая оттуда, даже самые капризные наши режиссеры, всевозможные лауреаты, задирали большой палец:

— Н а ш!

Наш...

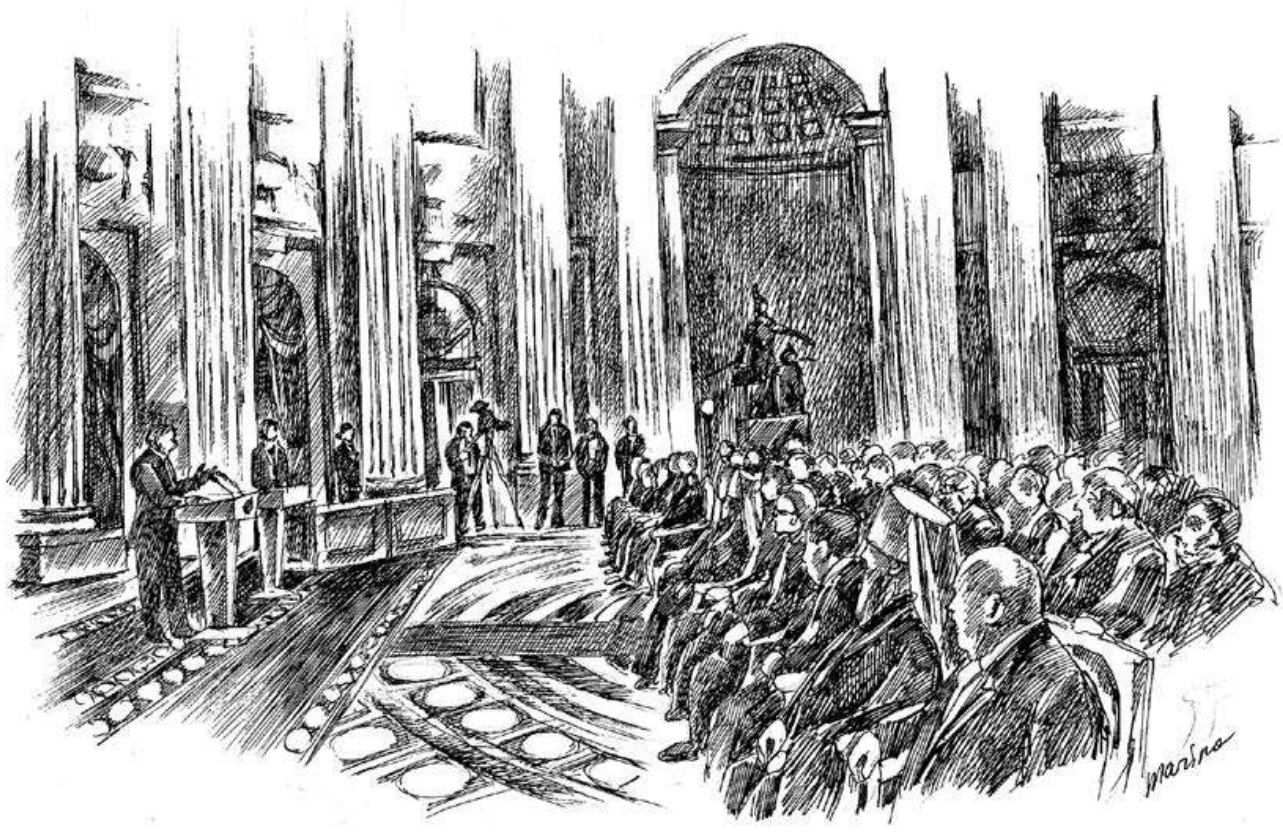
* * *

— Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин!

Оказывается, глас небесный может звучать и не с самих небес непосредственно, а откуда-то сбоку, с боковым мхатовским прононсом.

Зал притих, но, насколько мне помнится, никто в нем не встал. Ну подтянулись, приодернулись, как обдергиваются в строю при появлении вышестоящего армейского начальства. Но ни восторженных оваций, ни дружного вскаканья, ни экстатического блеска в глазах — все это, по-моему, пришло позже: самодержавие партийное уже отошло, в том числе и усилиями самого Ельцина, а вот самодержавие беспартийное, сегодняшнее еще не подоспело.

Ельцин, как всегда, элегантен. За все время своего не такого уж и долгого правления он, если не ошибаюсь, всего лишь раз появился на официозной публике, в парламенте, с растрепанными, после хорошей сауны, волосами — визажисты-массажисты, видимо, проспали, а время шло горячее, вот Ельцин и



опростоволосился; он к трибуне ринулся тогда, как на деревенскую драку.

Началось вручение. Ассистировала Ельцину молодая женщина, которую я знал совсем еще юной; она работала когда-то в ЦК комсомола. Нечто непостижимое творят с женщинами достаток и высокое положение. Их, женское, подспудно мерцающее течение, как поступательное струение северных рек, поворачивают вспять или, на худой конец, останавливают — на счастливой точке замерзания. Знал ее юной, а сейчас, через четверть века, она — молодая. Во всяком случае, на порядок моложе меня, хотя мы вообще-то ровесники. Формы только не узенькие, как когда-то, не вырезанные, а щедро, со смаком вылепленные. Хооррошими такими, брутальными и даже похотливыми шлепками. Втиснута, набита в тесный, изысканно-строгий кашемировый костюм, как непосредственно в кожу, в суцельный скальп Венеры Милосской. До скрипа, который, уверен, у мужчин, составлявших в женском, Екатерининском зале большинство, отдается, тревожно екает аж под ложечкой, ежели еще не ниже.

Я безнаказанно любовался ею из третьего ряда; она же, наверное, даже фамилию мою давно забыла.

С грациозной вышколенностью маятника — даже кашемир отливал дорогим металлом — перемещалась женщина от своего резного столика с обтянутыми бархатом коробочками, чьи крышки, как у младенческих гробиков, уже приоткрыты и в них, в золоте, брезжил ласточкин, тонкий профиль усопшего бессмертного нашенского солнца, — к Борису Николаевичу. У женской части зала глаза в кучку, и известно на ком, у мужской же, как у меня, бегали — туда-сюда, и тоже известно за кем. Впрочем, у мужчин они вообще, независимо от обстановки, снующие.

Напряжение в маятнике все же чувствовалось. И вскоре стало ясно почему. Борис Николаевич при всей своей маяковсковской статности и выглаженности уже все же выпадал из формы: годы и болезнь, недуг даже горше, чем годы, уже точили его. К тому же мы, мужчины, страдаем склонностью их, свои болячки, еще и отягощать. Борис Николаевич, как всегда в нос, заговорил — о бессонной ночи, проведенной за чтением Пушкина, прочитал наизусть несколько общеизвестных строф, потом запнулся, потом улыбнулся своей обезоруживающей улыбкою в меру поджарого медведя, и все мы простительно поняли, что ночь проведена не только — помимо Пушкина — со стаканом чая.

Ассистентка не одного меня не видала: со всепоглощающим вниманием няньки — Арины Родионовны! — следила за каждым движением и жестом Б. Н.

Позже узнаю, что во время одного из таких же награждений она сама упала в обморок. Но это случилось уже не при Борисе Николаевиче. Странное дело: за сменщиком Б. Н. и следить не надо было — не упадет! — а вот напряжение оказалось еще высоковольтнее.

И, похоже, не только у нее.

Стихи Ельцин прочитал не очень складно, но у меня после, после его добровольной отставки, появилась оказия достоверно узнать, что он действительно большой книгочей. А истинные книгочеи как раз и не шпарят как по писаному, потому что они по писаному б р е д у т. В издательстве, где я тогда работал, выходили редкостные книги, включая, скажем, описание знаменитого кругосветного путешествия цесаревича, тогда еще цесаревича, Николая (в том путешествии, в Японии, самурай-полицейский и ранил его своею саблею — только смелым вмешательством князя Ухтомского, как раз автора многотомника, и обязаны мы тому, что удар пришелся не ребром тяжелой сабли, а плашмя), и в издательство регулярно зачастили посыльные от Б. Н., уже отставленного, — за нашими новинками.

Похоже, что Ельцина не отставили, а приставили — вернули к самому себе. Воссоединили.

...Подошла и моя очередь.

Б. Н. взял меня крупными, подрагивающими, промытыми пальцами за лацкан, а я прошипел ему в ухо:

— Вы меня помните, Борис Николаевич?

От уха, да и от всего него, пахло исключительно одеколоном.

Он промолчал, усиленно, с посапыванием, проширивая шерстяную материю. А справившись, после паузы, тихо сказал мне, тоже в ухо:

— Узнал. Только выступать не надо...

Да я, собственно, и не собирался. Желающих выступить тут и без меня, грешного, хоть отбавляй.

Узнал?..

* * *

У меня с ним две фотографии. Да, одна — как раз с этого «вручения». Б. Н., уже совершенно, химически седой, с одутловатым овалом в общем-то правильного русского лица. И я — тоже не гармонист, не первый парень на селе. Разъедающая волосы плешь, трудовой волдырь уже наметился, уже наизготовку, как будто медаль вешают не на грудь, а на него. Почти одного роста, чинно пожимаем друг другу пятерни, как два представителя почти дружественных держав. И — фотография более ранняя. Мы в ногу, спорым размашистым шагом — причем Ельцин еще и расстегивает на ходу ладный, приталенный по тогдашней, нынче возвращающейся моде пиджак, шагаем от его ЗИЛа к центральному входу тогдашнего Центрального телевидения. Б. Н., тогда еще первый секретарь МГК КПСС, приехал на ЦТ, причем не для записи, не для выступления, а для знакомства с работой московской редакции, которую я, зампред ЦТ, как раз и курировал.

Ельцин приехал к нам в раздраженном состоянии. Его встретил и председатель Гостелерадио СССР Александр Аксенов — ветеран и инвалид войны, человек странно романтический — это при том, что в свое время возглавлял и КГБ Белоруссии. Ельцин накануне потребовал, чтобы в этот, в о с к р е с н ы й, день никакого телевизионного начальства на его встрече с к о л л е к т и в о м, кроме меня, не было. Но Аксенов, даром что романтик, ослушался: как же так — кандидата в члены ПБ и не встретить? Чревато!

Москва, правда, уже знала, пронюхала, что у кандидата что-то не стыкуется с Генеральным, да и со всем Политбюро в целом. Возможно, этим и объяснялись заряженность, заведенность нашего гостя. Это же знание в значительной мере предопределило и появление председателя Аксенова — сперва пред угрюмыми фарами членовоза, а потом и перед светлыми, действительно светлыми-светлыми, волчьими очами Кандидата.

— А вы зачем? — буркнул тот в сторону Аксенова, суставчато вылезая из лимузина. — Отдыхали бы себе...

Аксенов пропустил грубость мимо ушей и первым протянул руку.

Отдыхать им вскоре предстояло обоим. Ельцину временно, Аксенову — бессрочно.

Какие мы на той фотке молодые и борзые! — Ельцин зло и размашисто шагал в свое партийное диссидентство, я же — в свой перестроечный конформизм. Пройдет совсем немного времени, и мы с ним очутимся на совершенно противоположных полюсах. Видоизменимся (не потерять бы в этом процессе в и д главенствующий, человеческий) сами, и резко изменятся координаты нашего сосуществования. Ельцин — на самом заполярном, разреженном беспартийном верху, почти что на Северном, я — значительно ниже, но тоже уже не на телевидении и не в журналистике, а в самой опасной близости к его антиподу, Горбачеву. Ельцину, в соответствии с его характером и вложенным в него сумасшедшим горючим ресурсом, предстоял путь еще выше. Мне же, тоже, наверное, в соответствии с характером и полным отсутствием материального ресурса — под плинтус: близость к М. С. мне так и не простили. Как и самому Горбачеву народ наш до сих пор не прощает близость к самому себе, к народу: любят тех, кто посылает на фронт, «на бой кровавый,

святой и правый», а не тех, кто распускает нас, грешных, по домам.

Выплеснуть свое раздражение на Аксенова Ельцин себе не позволил — может, еще и потому, что «встреча» проходила в канун Дня Победы. Мне же тогда досталось по полной программе. Знакомясь с редакциями, осматривая телевизионный технический центр, беседуя, наконец, с «коллективом», Б. Н. шпынял меня как сидорову козу. Я же слабо отбрехивался или, если благоразумный романтик председатель уж совсем недвусмысленно давил мне на туфлю, просто отмалчивался...

Это ли вспомнил, если действительно вспомнил, Б. Н., старательно ковыряя мой костюм, купленный еще в горбачевские времена, когда на волдырь еще и намека не было? Или другое, относительно недавнее — как зарубил мою кандидатуру, внесенную тогдашним премьером Сергеем Степашиным на пост министра печати? Впрочем, зарубил не сам Борис Николаевич — судя по всему, он вообще был не злопамятен — а зарубила, говорят, его дочка, это у нее память оказалась построже отцовской.

— Спасибо! — чистосердечно поблагодарил я, еще не зная, что именно эта медаль через десяток лет и даст мне столь существенную и взыскуемую сейчас, в старости, прибавку к пенсии.

Вообще-то с не меньшим подобострастием я мог бы тогда поблагодарить и самого Александра Сергеевича, которого немного неуклюже, по-медвежьи цитировал в тот торжественный, именинный день Борис Николаевич и чей ласточкин профиль уже светился на мне.

— Ты на кого, дурак, надеешься? На Пушкина, что ли? — любили подначивать в моем селе всевозможных незадачливых дураков, типа меня, раздолбаев, во времена моего детства редкие благоразумные трудящиеся.

Сейчас же нам всем, дуракам, похоже, только на него, на бессмертно усопшего Александра Сергеевича, на наше в с е и можно уповать.

* * *

Совсем недавно навещал М. С. Сильно располневший после операции на сонной артерии в Германии, чуть ли не в той же мюнстерской клинике, где умирала Раиса Максимовна, он сейчас почти вошел в берега. Глаза только стали еще больше и, мне показалось, еще лихорадочнее. Может, потому что брови исчезли, вылезли, как, ставши ненужным, вылезает у стариков волосяной покров даже в самых потаенных местах, глаза и разлились по всему лицу. «Глаза рекой» — это мое любимое гоголевское определение стало применимо и к Михаилу Сергеевичу: глаза у него пошли рекой. Речка только Черная, беспокойная — к непогоде?

Приехал к нему с двумя своими друзьями и его бывшими сотрудниками, Александром Дегтяревым, последним заведующим идеологическим (раньше писалось с большой буквы) отделом ЦК КПСС, и Олегом Ожерельевым, тогдашним помощником М. С. по экономическим вопросам. Пока беседовали, заметил на столе перед Михаилом Сергеевичем листок с отпечатанными на нем нашими фамилиями-именами-отчествами: его, видимо, принесли накануне из приемной. Одно отчество записано с ошибкой: и то верно — «Якимович» — сегодня почти экзот, старорусское, по святцам, имя исчезло, как и сама Святая Русь. С угадываемой ошибкой... Уже и секретарши М. С., новые, раньше в ЦК у него статно сидели исключительно мужики, стали нас забывать.

Поговорили — М. С. и говорлив еще ручьистее, чем прежде, — поздравили с восьмидесятишестилетием, вручили немудреные свои подарки и стали подниматься. Меня М. С. задержал:

— Георгий (мое отчество ему запоминать-забывать не приходится, он, по нашей южнорусской привычке, всю жизнь не погонял меня по батюшке)... Приходи ко мне работать...

И тут же, простодушно улыбнувшись, спохватился:

— Только имей в виду: денег у меня сейчас нету. Раньше летал, ездил, зарабатывал по миру лекциями, сейчас же летать-ездить врачи мне запретили... Приземлили...

— Так и у меня их, Михаил Сергеевич, тоже нема, — засмеялся я. — Как же мы будем, два безденежных?.. Ноль к нулю?..

М. С. сделал вид, что не расслышал.

Мы обнялись. Вставать с кресла Михаилу Сергеевичу уже трудновато, хотя за всю беседу, в отличие от прежних его именин, мы не выпили с ним ни грамма. Я вернулся в коридор, где меня ждали мои друзья, и мы поехали в ближайшую «Чайхану» (это еще нам по карману, а кормят-поят там отлично, хотя и пишут, стервецы, здесь, в пупке России, почему-то по-узбекски, через вторую «о») — нельзя же такой день завершать совсем уж всухую!

...Когда во время второй своей выборной кампании Борис Николаевич собирался в Чечню, он велел тогдашних ее предводителей во главе с Яндарбиевым заманить, якобы для серьезных переговоров — и даже начал их (известен казус с рассадками, опять с «рассадками»: Б. Н. хотел, чтобы чеченцы сели у него по бокам, как подчиненные, Яндарбиев же, вчерашний экспедитор местного книжного издательства, настаивал «на равных»: друг против друга), — в Мо-

скву. А потом практически запереть их обманно на сутки, как раз на полет в мятежную республику, на респектабельной, с бассейном-сауной-баром, правительственной даче. Сам ли придумал такой ловкий, в духе средневековых великокняжеских междоусобиц, ход, или подсказали? Даже если подсказали... Одну подсказку Михаилу Горбачеву, не предназначенную для чужих ушей, я в свое время, по тогдашней младости лет и слуха, все-таки расслышал. Только-только горячо взошла история с двумя букетами кандидата в Президенты Бориса Николаевича и с «покушением» — падением в Успенский пруд. На одном очень уж узком и закрытом заседании М. С. полушепотом подсказали: а не показать ли по телевизору народу пленочку? Как было на самом деле? Пленочка-то, мол, имеется...

Горбачев громко отмахнулся:

— Я в такие игры не играю!..

Наверное, политика с тех почти баснословных времен ушла далеко вперед. Или подсказчики удвоили свою силу...

Да, ни тот и ни другой не злопамятны — достаточно вспомнить историю с лефортовскими незадачливыми сидельцами, — и это мне импонирует в них больше всего. А что касается простодушия: оно никогда не добавляло политике долговечности. И политикам.

Впрочем, Горбачев пережил-таки своих главных т о г д а ш н и х оппонентов. Взял реванш. Возможно, потому и взял, что по большому счету из политики — выпал. Досрочно.

А вот из страны, слава богу, не съехал. А теперь уже и не съедешь: врачи не велят.

Продолжение следует.